
Сухое красное, инжир и камамбер —
Так Петербург встречает уцелевших.
Бокал, другой и тут же станет легче —
Как будто сбросишь десять атмосфер.
Он ослепит театром и кино,
Он будет щедр на солнце непривычно,
Тебе покажется, что смерть была давно,
А нынче жизнь прекрасна и прилична.
Но камень твёрд и грудь твоя пуста,
И прошлое вот так не перепишешь,
Пусть даже разрывает красота,
Когда глядишь с Исакия на крыши.
Гранитный бог, ты беспринципный вор,
Меня не проведёшь сверканьем спицей,
Точи свой неразборчивый топор,
Пока мы красное сухое не допили.

Весь день стоять на остановке
И не решаться сесть в трамвай —
Во всех газетных заголовках
Назавтра будет: «Уезжай!»
Но разве знают газетёнки,
Как тяжело покинуть пост
На остановке у посёлка,
В котором ты когда-то рос?
Здесь память будит каждый шорох:
Сарай в гимназии, завал
Из белых раковин, в которых
Котят бездомных отмывал.
Черёмуха в ближайшей роще,
И ты с другою детворой
На ветке, маленький и тощий,
Следил за беличьей игрой.
Воспоминаний вереница:
Неужто это был не рай?
И я стою, а снег кружится,
Какой тут может быть трамвай?
Меня толкнут: «Не пьяный вроде,
А что ж как вкопанный тогда?
Трамваи тут вообще не ходят,
И не ходили никогда»...

На кухне мы с тобой всегда молчали,
Я жарила проклятых карасей,
Что долго трепыхаться продолжали
В переизбытке боли и костей,
А ты курил задумчиво и хмуро,
Годами вырабатывая стиль,
Как будто наша жизнь — карикатура,
На незапоминающийся фильм.
На тесной кухне, сплошь пропахшей рыбой,
От нас всё время ускользала суть:
Мы оба быть счастливее могли бы,
Когда бы постарались хоть чуть-чуть.

Мне снилось, ты целуешься с другой
На деревянной солнечной веранде,
Увитой ломоносом и берёзкой...
Мне страшно не понравилось смотреть.

Не свет меня смутил, что, проходя
Сквозь листья, на лицо твоё ложился,
Подсвечивая золотом ресницы
И кончики опущенных волос.

Не та другая с ровною спиной
И смелым взглядом (будь она неладна),
Не горечь отцветающего лета,
Не пчёл прощальный танец у цветов.

А то, что счастлив быть посмел с другой.
Любили мы, но смерть нас разлучила.
А, может, та, другая на веранде,
С которой мне не примириться, — смерть?

Наткнешься в новостной ленте на чью-то смерть,
вроде как поэтесса,
а фамилия незнакомая.
Лицо круглое, глаза тёмные...
вдохнёшь и пролистаешь, зачем подробности?

Потом снегопады, дожди, листопады,
дожди, снегопады, дожди,
листопады, дожди,
и вроде дожди как дожди,
но размывают, размачивают, размягчают.

И вот садишься за фотографии:
смотришь свою жизнь — картинка к картинке.
Выступления, поездки, семинары, фестивали —
вся эта литературная жизнь,
и вот она, та самая поэтесса —
напротив тебя на снимке,
а ты смотришь со сцены в эти глаза
и читаешь,
и не можешь остановиться —
всё твоё лучшее идёт горлом.

Что за город?
Не вспомнить.
Фамилию и подавно...
Только для кого же теперь читать?

Дядя Вася Васюков жил прямо за стеной.
На коричневой тумбочке с инструментами стоял
телевизор «Лазурь»,
за которым простиралась стена, заклеенная
голубыми обоями,
прямо за ней и жил дядя Вася.
Иногда он приглашал нас в гости,
нас было трое — брат, сестра и я, —
он был рад всем троим. Или делал вид.
Он разрешал нам забираться на диван с ногами
(у всех тогда были одинаковые диваны).
Он смешивал мороженое, молоко и малину в высокой
кружке миксера,
(у всех тогда были одинаковые миксеры),
а потом давал нам одинаковые стаканы
с одинаковыми трубочками
(трубочки тогда было не достать).
Я не помню вкуса этих коктейлей,
но помню ощущение счастья.
Соседи говорили, что дядя Вася одинок и несчастен,
что у него не ладится с женщинами.
Я внимательно всматривалась в дядю Васю —
у него были чёрные усы
и волосы, всегда приглаженные на одну сторону,
но почему он несчастен, видно не было.
Он был щуплым и невысоким,
он был застенчивым и скромным —
соседи говорили, что женщины на таких не смотрят,
соседи говорили, что женщины все одинаковые,
как диваны, как миксеры, как стаканы.
Я не помню, как выглядели соседи,
не помню номер квартиры, в которой мы жили тогда,
не помню имён детей, с которыми возилась в песочнице,
но я помню опрятного дядю Васю,
который позволял нам забираться с ногами на диван
и делал для нас молочные коктейли,
вкуса которых я не помню.

Я шепчу шелестящее еле слышное «отпусти»,
Только ты, как нарочно, сжимаешь меня в горсти,
Мои крылья ломаются, перестают расти,
И на кой мне сдалось твоё сахарное «прости»?
У меня, кроме крыльев, и не было ни черта,
Извергаю свистящее злобное «сволота»,
Мне с тобою теперь до конца эту пыль глотать,
Не стихи теперь — камни вытаскивать изо рта.
Ты несёшь деревяшки и гвозди, грозишь: «Спасу»,
Говоришь, что поможешь остаться мне на весу.
Я тебе подчиняюсь, какой тут теперь протест?
И в итоге сама, добровольно ложусь на крест.

Я не уеду с тобой на море.
Останусь в городе, стану кошек
Больных выхаживать, в коридоре
Устрою им лазарет, а позже
Дам объявление в пару строчек:
«Стерилизованы и привиты,
К лотку приучены, к когтеточке»,
И фотографии на «Авито».
Потом подумая и оставлю
Всех недолюбленных до единой,
Я их не брошу и стану сильной
И независимой тоже стану.

Крестики, цветочки, люди —
Тошно, словно свет не бел.
Знаю, знаю, все там будем,
Мне воробушек напел.
С виду, глянешь, — божья птаха,
На распашку пальтецо,
Чик-чирик — и станешь прахом
У соседа под крыльцом
Или в бабушкин садочек —
Ярки краски, пышен цвет —
Прирастишь ещё цветочек
В тридцать с лишним славных лет.
Брось воробушку в уплату
Хлебной корочки овал —
Пусть подавится пернатый,
Только б клюв не открывал.

Там, где Волга лениво ворочалась с боку на бок,
Мяч растущей луны перекатывая по телу,
Говорили о неговоримом, как так и надо,
Но до нас и до наших несчастий кому есть дело?
Говорили о страшном, о главном и как бывает,
Когда лихо заходит без спроса, а там не ждали,
Рыбы, те, что постарше, к берегу не подплывали,
Ведь подслушанный плач, будто камень,
ко дну пригвозждает.
Что ни слово, то падало вниз и с песком срасталось,
Отдавая кладбищенским холодом при повторе,
И сочилась из глаз преждевременная усталость,
И, мешаясь с водой, становилась Каспийским морем.

Сквозь тонкое плетенье занавески
Из-за окна плывут цветные сны,
Жизнь заперта во временном отрезке
Ещё неосязаемой длины.
Ты в колыбель укладываешь сына,
Глядишь то на него, то на котят,
Штампованных на плоскости поплина,
Стремящихся бежать, на первый взгляд,
Но намертво впечатанных в пределы
Условного постельного белья,
Их вечность пахнет манкой подгорелой,
Младенец свят для этого зверья.
Глядишь на них с такого расстоянья,
И время замедляется вдвойне,
А мальчик улыбается во сне,
Как будто знает тайны мирозданья.

Живу шутя, а слёзы лью всерьёз,
Так, будто мир уронен мне на плечи
И в нём, помимо матерных наречий,
Осталась только пара вёдер слёз.
За всё на свете через «не хочу»
Такою вот горючею валютой
Платить я пристрастилась почему-то:
Плачú и пла́чу, пла́чу и плачú.
Бушует море у меня внутри,
Вхожу в одну и ту же воду дважды —
Избыток соли порождает жажду.
Скажи, что всё наладится, соври.

Переплавляя боль в слова,
Переменяя страх с улыбкой,
Я снова окажусь права,
И это главная ошибка.

Терпенье, несомненно, дар,
Но если выразить в рисунке —
Я голубой стеклянный шар,
Летающий к треугольной лунке.

Несовпадение сулит
Ему крушение и гибель,
Но голубой метеорит
Пульсирует в стеклянной глыбе.

Прощать, прощать, прощать, прощать...
Да где же взять на это силы?
Прощай. Прощай. Прощай. Прощай.
Прощай, мой милый.

Купальской ночью откажись
И от костров, и от гуляний,
Воды открытой сторонись —
Там даже воздух окаянен.
Ведь знают люди испокон:
Что Рыбий Царь путём нечестным
Займёт Земной подлунный трон —
Земную деву взяв в невесты.
Не верь, глумись, лицо кривя,
Но лишь воды коснутся ноги,
И Рыбий Царь сведёт тебя
В свои подводные чертоги.